



Бенедикт натянул валенки, потопал ногами, чтобы ладно пришлось, проверил печную вьюшку, хлебные крошки смахнул на пол — для мышей, окно заткнул тряпицей, чтоб не выстудило, вышел на крыльцо и потянул носом морозный чистый воздух. Эх и хорошо же! Ночная вьюга улеглась, снега лежат белые и важные, небо синее, высоченные клели стоят — не шелохнутся. Только черные зайцы с верхушки на верхушку перепархивают. Бенедикт постоял, задрал кверху русую бороду, сощурился, поглядывая на зайцев. Сбить бы парочку — на новую шапку, да камня нету.

И мясца поестъ бы неплохо. А то все мыши да мыши — приелись уже.

Если мясо черного зайца как следует вымочить, да проварить в семи водах, да на недельку-другую на солнышко выставить, да упарить в печи, — оно, глядишь, и не ядовитое.

Понятно, если самочка попадется. Потому как самец, его вари не вари — он все такой же. Раньше-то не знали, ели и самцов с голодухи. А теперь

дознались: кто их поест — у того на всю жизнь в грудах хрипы и булькотня. И ноги сохнут. И еще волос из ушей прет: черный, толстый, и дух от него нехороший.

Бенедикт вздохнул: на работу пора; запахнул zip-пун, заложил дверь избы деревянным брусом и еще палкой подоткнул. Красть в избе нечего, но уж так он привык. И матушка, покойница, всегда так делала. В старину, до Взрыва, рассказывала, все двери-то свои запирали. От матушки и соседи этому обучились, оно и пошло. Теперь вся их слобода запирала двери палками. Может, это своеволие, конечно.

На семи холмах раскинулся городок Федор-Кузьмичск, родная сторонка, и шел Бенедикт, поскрипывая свежим снежком, радуясь февральскому солнышку, любясь знакомыми улочками. Там и сям черные избы вереницами — за высокими тынами, за тесовыми воротами; на кольях каменные горшки сохнут или жбаны деревянные; у кого терем повыше, у того и жбаны поздоровей, а иной целую бочку на кол напялит, в глаза тычет: богато живу, голубчики! Такой на работу не пешедралом трюхает, а норовит в санях проехаться, кнутом помахивает; а в сани перерожденец запряжен, бежит, валенками топочет, сам бледный, взмыленный, язык наружу. Домчит до рабочей избы и встанет как вкопанный на все четыре ноги, только мохнатые бока ходуном ходят: хы-хы, хы-хы.

А глазами так и ворочает, так и ворочает. И зубы скалит. И озирается...

Ай, ну их к лешему, перерожденцев этих, лучше от них подальше. Страшные они, и не поймешь, то ли они люди, то ли нет: лицо вроде как у человека, туловище шерстью покрыто и на четвереньках бегают. И на каждой ноге по валенку. Они, говорят, еще до Взрыва жили, перерожденцы-то. А все может быть.

Морозец нынче, изо рта парок пыхает, и борода вся заиндевет. А все равно благодать! Избы стоят крепкие, черные, вдоль заборов — высокие сугробы, и к каждым-то воротам тропочка протоптана. Холмы плавно сбегают вниз и плавно поднимаются, белые, волнистые; по заснеженным скатам скользят сани, за санями — синие тени, и снег хрустит всеми цветами, а за холмами солнышко встает и тоже играет радужным светом в синем небе. Прищурись — от солнышка лучи идут кругальями, поддашь валенком пушистый снег — он и заискрится, словно спелые огнецы затрепетали.

Бенедикт подумал об огнецах, вспомнил матушку и вздохнул: вот из-за тех огнецов и преставилась, сердешная. Ложными оказались.

На семи холмах лежит городок Федор-Кузьмичск, а вокруг городка — поля необозримые, земли неведомые. На севере — дремучие леса, бурелом, ветви переплелись и пройти не пускают, колючие кусты за порты цепляют, сучья шапку с головы рвут. В тех лесах, старые люди сказывают, живет кысь. Сидит она на темных ветвях и кричит так дико и жалобно: кы-ысь! кы-ысь! — а видеть ее никто не может.

Пойдет человек так вот в лес, а она ему на шею-то сзади: хоп! и хребтину зубами: хрусь! — а когтем главную-то жилочку нащупает и перервет, и весь разум из человека и выйдет. Вернется такой назад, а он уж не тот, и глаза не те, и идет, не разбирая дороги, как бывает, к примеру, когда люди ходят во сне под луной, вытянувши руки, и пальцами шевелят: сами спят, а сами ходят. Поймают его и ведут в избу, а иной раз для смеху поставят ему миску пустую, ложку в руку вторнут: ешь; он будто и ест, из пустой-то миски, и зачерпывает, и в рот несет, и жует, а после словно хлебом посудину обтирает, а хлеба-то в руке и нет; ну, родня, ясно, со смеху давится. Такой сам ничего делать не может, даже оправиться не умеет: каждый раз ему заново показывай. Ну, если жене или там матери его жалко, она его с собой в поганый чулан водит; а ежели за ним приглядеть некому, то он, считай, не жилец: как пузырь лопнет, так он и помирает.

Вот чего кысь-то делает.

На запад тоже не ходи. Там даже вроде бы и дорога есть — невидная, вроде тропочки. Идешь-идешь, вот уж и городок из глаз скрылся, с полей сладким ветерком повеваает, все-то хорошо, все-то ладно, и вдруг, говорят, как встанешь. И стоишь. И думаешь: куда же это я иду-то? Чего мне там надо? Чего я там не видел? Нешто там лучше? И так себя жалко станет! Думаешь: а позади-то моя изба, и хозяйш-ка, может, плачет, из-под руки вдаль смотрит; по двору куры бегают, тоже, глядишь, истосковались;

в избе печка натоплена, мыши шастают, лежанка мягкая... И будто червь сердце точит, точит... Плюнешь и назад пойдешь. А иной раз и побежишь. И как завидишь издали родные горшки на плетне, так слеза и брызнет. Вот не дать соврать, на аршин брызгает! Право!..

На юг нельзя. Там чеченцы. Сначала всё степи, степи — глаза вывалятся смотреть, — а за степями чеченцы. Посреди городка стоит дозорная башня с четырьмя окнами, и во все четыре окна смотрят стражи. Чеченцев высматривают. Не столько они, конечно, смотрят, сколько болотную ржавь покуривают да в палочку играют. Зажмет кто-нибудь в кулаке четыре палочки: три длинные, одну короткую. Кто короткую вытянет — тому щелбан. Но бывает, и в окошко поглядывают. Если завидят чеченцев, велено кричать: «Чеченцы! Чеченцы!», тогда народ со всех слобод сбежится, палками в горшки бить начнет, чеченцев стращать. Те и шуганутся подальше.

Раз так двое с юга подступили к городку: старик со старухой. Мы в горшки колотим, топчем, кричим, а чеченцам хоть бы что, только головами вертят. Ну, мы — кто посмелей — вышли им навстречу с ухватами, веретенами, кто с чем. Что, дескать, за люди и зачем пожаловали.

— Мы, голубчики, с юга. Вторую неделю идем, совсем обезножели. Пришли менять сыромятные ремешки, может, у вас товар какой.

А какой у нас товар? Сами мышей едим.

«Мыши — наша опора», так и Федор Кузьмич, слава ему, учит. Но народ у нас жалостливый, собрали по избам кто чего, выменяли на ремешки и отпустили их с Богом. После много о них разговору было: все вспоминали, какие они из себя, да что за сказки рассказывали, да зачем они к нам-то шли.

Ну, из себя они, как мы, обычные: старик седой, в лаптях, старушка в платочке, глазки голубенькие, на голове — рожки. А сказки у них были долгие да печальные: хоть Бенедикт тогда мал был да глуп, но слушал во все уши.

Будто лежит на юге лазоревое море, а на море на том — остров, а на острове — терем, а стоит в нем золотая лежанка. На лежанке девушка, один волос золотой, другой серебряный, один золотой, другой серебряный. Вот она свою косу расплетает, все расплетает, а как расплетет — тут и миру конец.

Наши слушали-слушали, потом:

— Что, дескать, значит слово такое: «золотой», и что — «серебряный»?

А они:

— «Золотой» — это вроде как огонь, а «серебряный» — как лунный свет или же, к примеру, как огнецы светятся.

Наши:

— А, ясно. Ну, еще расскажите.

А чеченцы:

— Есть большая река, отсюда пешего ходу три года. В той реке живет рыба — голубое перо. Говорит она человеческим голосом, плачет и смеется и по

той реке туда-сюда ходит. Вот как она в одну сторону пойдет да засмеется — заря играет, солнышко на небо всходит, день настает. Пойдет обратно — плачет, за собой тьму ведет, на хвосте месяц тащит, а часты звездочки — той рыбы чешуя.

Наши:

— А не слышать, отчего зима бывает и отчего лето?

Старуха говорит:

— А не слыхивали, милые, врать не буду, не слыхивали. А тому, правда, многие дивятся: зачем бы зима, когда лето куда слаще. Видно, за грехи наши.

Но старик головой покрутил.

— Нет, — говорит, — на все должно быть свое объяснение из природы. Мне, — говорит, — один проходивший человек разъяснял. На севере стоит дерево вышиной до самых туч. Само черное, корявое, а цветики на нем белые, ма-а-ахонькие, как соринки. На дереве мороз живет, сам старей, борода за кушак заткнута. Вот как к зиме дело, как куры в стаи собьются да на юг двинутся, так мороз за дело принимается: с ветки на ветку перепрыгивает, бьет в ладоши да приговаривает: ду-ду-ду, ду-дуду! А потом как засвищет: ф-щ-щ-щ! тут ветер подымается и те белые цветы на нас сыплет: вот вам и снег. А вы говорите: зачем зима.

Наши голубчики говорят:

— Да, это правильно. Это так, должно быть. А ты вот, дедуля, неужто не боишься по дорогам ходить? Как же ночью-то? Не встречал ли лешего?

— Ой, встречал! — говорит чеченец. — Совсем близко видел, вот как вас, к примеру. Вот слушайте. Захотелось моей старухе огнецов покусать. Принеси да принеси. А огнецы в тот год спсели сладкие, тянучие. Я и поиди. Один.

— Как один? — опешили наши.

— А вот так! — похвастался чуженин. — Ну, слушайте дальше. Иду я себе, иду, а тут стемнело. Не то чтобы очень, а так, серенько стало. Иду это я на цыпочках, чтобы огнецов не спугнуть, вдруг: шу-шу-шу! Что такое. Посмотрел — никого. Опять иду. Тут опять: шу-шу-шу. Будто кто по листьям ладонью водит. Я оглянулся — опять никого. Еще шаг шагнул. И вдруг он прямо передо мной. Вот только что ничего не было, и вот уж он тут. Вот — руку протяни. И ведь небольшой такой. Может, мне по пояс али потитьки будет. Весь будто из старого сена сваяян, глазки красным горят, а на ногах — ладоши. И он этими ладошами по земле притупывает да приговаривает: тяпа-тяпа, тяпа-тяпа, тяпа-тяпа... Ой и бежал же я!.. Не знаю, как и дома очутился. Так моей старухе огнецов и не досталось.

Тут детишки, которые слушали, просят:

— Расскажи, дедушка, какую еще нечисть в лесу видать.

Налили старику квасу яичного, он и начал:

— Был я тогда молодой, горячий. Ничего не боялся. Раз три бревна вместе лыком обвязал, на воду спустил — а речка у нас быстрая, широкая, — сел на них и плыву. Право слово! Бабы на берег сбежа-

лись, крик, визг, все как положено. Где же видано, чтобы человек по воде плавал? Это теперь, говорят, бревно долбят да на воду спускают. Коли не врут, конечно.

— Не врут, не врут! Это наш Федор Кузьмич придумал, слава ему! — кричат наши, а Бенедикт громче всех.

— Федор Кузьмич так Федор Кузьмич. Мы не знаем. Не ученые. Речь не об том. Ничего, я говорю, не боялся. Ни русалок, ни пузыря водяного, ни кочевряжки подкаменной. Я даже рыбку-вертизубку ведром поймал.

— Ну уж это... — наши говорят. — Это уж ты, дед, заврался.

— Правду говорю! Вот и старуха моя не даст соврать!

— Верно, — старуха говорит. — Было. Ой же я его ругала! Ведро опоганил, сжечь пришлось. А новое ведь пока выдолбишь, пока продубишь да просмолишь, да по три раза просушишь, да ржавью окуришь, да синим песком натрешь, — все-то я рученьки пообломала, надрываючись. А ему, вишь, доблесть одна. Потом вся деревня на него смотреть ходила. Кто и опасался.

— Естественно, — наши говорят.

Старик-то доволен.

— Зато, может, я один такой, — хвастает. — Чтوب вертизубку так близко видеть — вот как вас, к примеру, — и живым остаться. Что вы!.. Я богатырь был. Силища! Бывало, ка-ак заору! Пузыри в окнах лопа-

ются. А сколько я ржави зараз выпить мог! Бочку усаживал.

А Бенедиктова матушка — она тут же сидела — губы поджала и говорит:

— А конкретную пользу вы из своей силы извлекали? Что-нибудь общественно полезное для коммуны сделали?

Старик обиделся.

— Я, голубушка, в молодые-то годы мог на одной ноге отсюда как вон до того пригорка допрыгать! А не пользу. Я, говорю тебе, бывало, как гаркну — солома с крыш валится. У нас все в роду такие. Богатыри. Вот старуха не даст соврать: у меня если мозоль али чирей вскочит — аж с кулак. Не меньше. У меня, я тебе скажу, прыщи вот такие были. Вот такие. А ты говоришь. Да если хочешь знать, у меня батя, бывало, голову почешет — с полведра перхоти натрясет.

— Да ладно вам! — шумят наши. — Ты, дедуль, про нечисть обещал.

Но дед, видно, не на шутку обозлился.

— Ничего говорить не буду. Приходят тут слушать... так слушай! А не подъялдыкивай. Всю, понимаешь, мечту разворотила. Небось из Прежних, поговору чую.

— Это точно, — наши на матушку косятся. — Из Прежних... Давай, дедушка, начинай.

Рассказал еще чеченец про страсти лесные, про то, как тропинки различать: которые всамделишные, а которые — морок один, зеленый пар, травя-

ная кудель, волшебство и наваждение, — все приметы доложил; про то, как русалка на заре поет, кулдычет водяные свои песни: поначалу низко так, глубоко возьмет: ы, ы, ы, ы, ы, потом выше забирает: оуааа, оуааа, — тогда держись, гляди в оба, не то в реку затянет, — а уж когда песня на визг пойдет: ййих! ййих! — тут уж беги, мужик, без памяти. Рассказал про лыко заговоренное и как его опасаться надо; про Рыло, что народ за ноги хватает; и про то, как ржавь самую лучшую ищут.

Тут Бенедикт высунулся:

— Дедушка, а кысь видели?..

Посмотрели на него все как на дурака. Помолчали. Ничего не ответили.

Проводили бесстрашного старика, и опять в городке тишина. Дозор усилили, но больше на нас с юга никто не нападал.

Нет, мы все больше на восход от городка ходим. Там леса светлые, травы длинные, муравчатые. В травах — цветики лазоревые, ласковые: коли их нарвать, да вымочить, да побить, да расчесать — нитки прясть можно, холсты ткать. Покойная матушка на этот промысел непроторная была, все у нее из рук валилось. Нитку сучит — плачет, холсты ткет — слезами заливаются. Говорит, до Взрыва все иначе было. Придешь, говорит, в МОГОЗИН — берешь что хочешь, а не понравится, — и нос воротишь, не то что нынче. МОГОЗИН этот у них был вроде Склада, только там добра больше было, и выдавали добро не в Складские дни, а целый день двери растворены стояли.